апександра петрова, паная отрыва

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА

ЛИНИЯ ОТРЫВА

Митин Журнал 1994 Северо-Запад Санкт-Петербург

ББК 84 Р7 П 305



© Александра Петрова, 1994 ISBN 5-8352-0488-4

Тираж триста экземпляров.

Милый человек, я не знаю твоего языка. Яблоко падает за облака. Ждем дождя. Вот уж которую ночь мы провожаем друг друга.

Вот уж которую ночь мы провожаем друг друга. Не до смерги любим, но до поливальных машин, до солнца, повернутого в профиль к Югу.

Все больше простору внутри этих стен; вот опять последняя книжная полка сегодня открылась прозрачной,

но дружество наше так темно и зыбко, как правописание ять; ты слово сказал, я не понял его, хоть, наверно, оно и удачно.

Оборваны шторы, распахнуты двери, рука лишь наспех задержана в рукопожатьи - куда там... Ты тоже событий взметнувшаяся мука, сквозняк, и некому ставить заплаты.

1988, Tapmy

В январь мой поезд попал, как в туннель. И незачем брать ружье, надевать шинель, здесь победы не может быть: этот январь бесконечен. Он навечно мне дан, как врожденная глухота. Я сегодня заметила: что-то не так. Глядь: друзья упадают с ладони, словно ледышки, птицы замерэшие. Милые, что с вами?

встаньте! вам холодно очень?

Лишь во сне обступили вокзальные фонари. Как покойники, тихо они подошли. Кто-то двери в вагоне моем отворил. Значит, путь мой окончен. Вот и дом за спиною, а дизель исчез.

Я проснулась: за мною заснеженный лес. А мой дом заколочен.

КИНОЗАЛ

M.P.

Снег запорошил картины всех укоризн и усталого быта. Это экран в зале, где лампы погасли, рампа разбита.

Полупустой, но все-таки зрители есть, коть их уже мало. Щелкают стулья, и снова кто-то выходит из зала.

В чуть засветленную тьму, в сукно из тумана дверь приоткрыта. Кто-то взглянул на часы, сказал: еще рано.

Чье это время звенит в не подставленной каплям ладони? Там, за порогом, слышишь, вода прибывает, и лодка тонет...

Полно сидеть тебе, милый Протей, нарисуй же на этой мелованной ткани то, что ты видишь на том, настоящем, экране.

Может, удастся еще укороченный выдох. Может, за этим экраном есть дополнительный выход.

Мае Халтуриной

Ворона спит, качаясь в клети березы. Окно раскрыто, там белое небо лежит под наркозом. Под яблоней мальчик стоит, глотает слезы: Я имя свое уронил с золотого возу.

Повещена слева пустынная рама рощи, больницы и сада белилами замер росчерк, почти незаметно, что воздух из жидкого воска, лишь пламя когда отразится и ляжет косо.

Но эта прозрачность, наверное, одностороння. А с той стороны и не вспомнят, коль имя уронят. И душен там гул, даже тени там тесно,

хоть места так много. Нас тоже туда позовут, так что вещи свои ты оставь у порога.

А здесь только яблоко шорхло сорвется, и ворон (возьми свое царское имя, мой мальчик) найдет себе

вора.

Он был и ушел, и где его след? - лишь трав хруст. Возьми свое имя, мой мальчик, и царствуй. Ты - Август.

Все тоньше пленка небесного шара; хлынут вниз заоконные вязы. На стекле разрастается озеро пара; вода соберется у глаза.

Разбредутся предметы по разным углам, связь прервется меж стулом и стулом. То, что есть отражение в недрах стекла, - это физика нас обманула.

Звук сорвется как в пропасть на паре шагов. Лишь его искаженное эхо бумерангом заденет значение слов, что меж яблоком дышат и веком.

ПОДХОДЯ К РАВНОДЕНСТВИЮ

1

Вот написана бегло страница: остановится в ••• месте блудница, где из окон виднее другая жизнь гремящего мимо трамвая, где деревья глядят в клетке сквера на падение Еря и Ера.

2

Пенсионера отправляют в морг. Он десять лет уж как совсем продрог. Теперь он видит над собою сквер. А был когда-то тоже пионер. Ему разобранной казался флейтой мой уголок меж рельсами и дельтой.

3

Здесь середина. И ее длина равна стоянию у зимнего окна. Пока нет тени от бегущей стрелкинет времени. И в колесе для белки, явив костяк строенья, стали спицы. И луч лежит на пальце у блудницы.

Буксует воздух. Человек отбросил на город свой прозрачный силуэт, почти достигнув выдуманной тверди. Теперь оттуда видно - смерти нет. Чего ж ты все по-прежнему о смерти?

Ведь, словно стрелки на часах, совпали все вертикали и горизонтали.

НА СМЕРТЬ Д. Е. МАКСИМОВА

В окнах белый свет, а тебя нет. Я знаю, что здесь существует такая штука: называется земная гладь. Но и на ней тебя искать все равно впустую. Нигде тебя нет. Хотя, когда едешь, можно и обмануться. Время, живущее с нами в вагоне, так непонятно. Оно кинет нас с зеркальной ладони, и мы не вернемся обратно. И, может быть, там я увижу тебя.

Нет тебя уже три дня.
Вот и век стремится к линин отрыва.
Только время не пришло сказать об этом.
И мой друг все хочет оглянуться,
да меня боится испугать.

Нет тебя. Листы твоих тетрадей ветром сдуло. Что теперь обманывать? Поэтом, нет, ты не был, и куда больнее в головах бесславного стоять.

Я листаю книги о деревьях. Я смотрю на Тую, жизненное дерево. В ответ, март, открой мне карту голубую, расскажи, что смерти нет.

1987

В ПОИСКАХ НУЖНОГО ИМЕНИ

День желтоват, апрель студеный (мы - тень белеющих крестов) и влагой густонаселенный след от ботинка, дым костров (жгут листья). Кто бы нас заметил, окликнул (знали б - живы мы), но все бредем вот к тем и к этим... А день так светел, светел, светел. Оглянешься: он вовсе смыт.

Пб., Смоленское кладбище

Шары деревьев надулись ветром, а мы-то думали - еще не пора. Мы скоро вернемся в город-πετρα к чертежной доске воскового Петра.

Яблоки падают в траву. На крышу сарая. Солнце спицей зацепилось за велосипедное колесо. Ты крутишь его, увлекая из этого рая, и вдалеке, словно море, съедает тебя песок.

Мюнхен

Все остальное вяло. Мне хотелось бы написать о любви. Как ты ускользал, а потом ловил. Как я искала, сжимала, брала. Как цвет от цвета отслаивала пила. Как век октоскоп уводил и ломал пространство на сотни вагонных зеркал. Как двери хлопали, по коридору кто-то бежал; он был бесконечный, но в конце оказался причал. И ты сказал мне: смотри, это море, попробуй на вкус. Это раковина, это бабочки шелковый ус. Как тяжелую лодку тащили ко дну. Как песочные брызги сжимались в волну. Как на дне мы лежали озерами спин. И забыли, что счет начинается с цифры один.

СТИХИ ДЛЯ ВИЛЛИ

1

... Я иду на высокий и резкий звук трех деревьев, поющих в саду. Облака серебристой пыли. Тополя. Млечно-серый рай. Why do you cry, Willy, why do you cry?

И.В.

Там разрасталось вглубь окно и выйти *из* меня звало, и нерожденная листва в окно шептала мне слова.

Нули капелей дали ноль. Дождь выкропил асфальт, как моль съедает шерстяной платок. Я был, поскольку я промок.

Сад дал осечку. Лишь одна чиркнула птица из ствола. Так одинок я был, один. Но вдруг расслышал: Господин!

Отслаивая немоту небес о Господи! она не без надежды - я иду на звук твоих деревьев, Вилли, друг. Настигнут мир вокзалов.
Брошены неводы на шары застекленных теней, человеков, клумб, тумб, фонарей.
Также прочие возникалы околдованы до поры - пьяницы, мытари, лопари - до задевшей дремное веко зари, до луча, затерявшегося в волосах, до пружины, зевнувшей в стенных часах, до восстанья в узилищах скраденных мест, до гудков голосов: справа, слева, окрест.

Ночь прогрызла (крылом распорола) сачок и скользнула под тоненький каблучок, чтобы внове разлиться жирным пятном, поиграть с милым Вилли и съесть потом.

3

Все ярче слышно жужжанье солнце-звездного механизма. Соскользнули летейские сани, умножаясь в небесной призме.

И когда нас теней лишили - обнажилось - так мал окоп, где трубой созывает Вилли воинов: хлеб, вино, молоко.

Рыбы-щуки, гады и змеи, заберите меня к себе. Я теперь говорить не смею. Вот мой костно-языкий обет.

Я заперт в пенал прозракий. Аптечный дрожу пузырек. И все неизменные знаки: бездарен и одинок.

СТИХОТВОРЕНИЕ "Л. ДОБЫЧИН"

Сегодня дождь. Ломаются ветви дерев, а этот писатель (чьи письма) умер, хоть облысев, но, в общем, не старым. Без восклицательных зна коварным и верным друзьям он писал допоздна, что дескать меня не ищите отправлюсь в другие места скромней и свободнее на обороте листа Набухают водосточные трубы, вырываются крылья рам. Ты кидаешь беломорные трупы и все остальное к ее ногам.

Задымятся вулканы лестничных клеток. То шипит, то шлепает разговор. И, как птицы в сетях из веток, роится у стекол сор.

Мы вдруг вчуже взглянем на облик прежде ручных вещей. Кажется всякий на оклик ответит теперы: я ничей!

И в белесом солнцестоянии, проникающем между стен, лишь отчетливей выйдет молчание и отчаянье перемен.

проездом: Родина

1

Вот уже майские светлые сосенки. Валят слепые еще деревца. Жидкая глина у просеки. Здесь место фасада, а здесь - торца.

Человек врывается в заросли. Дождь косой поливает все замыслы. Углубляются борозды в чреве земли. Ненастье. Растяженье неравенства и (к тому, что оставишь) страсти.

2

Стоят картонные леса. И прорастают морщинистые мшистые дома. Поля нарезаны до самых дирижаблей облаков.

Здесь страшно вверх взглянуть: империя пространства как магнит. Я неприкаян, даже имя меня уже не отличит. Озверевший автобус рычит на поля. Видишь - это родная земля. Свалка флоры: засохший камыш или пень и бегущая тень сквозь дырявый плетень омрачает буколику взора.

Как искали болезни любовной зерно? Совесть - словно сквозь сито. Эту землю и я ненавидел, но возжелал, как Лолиту. Кто же первым изменит, она или я? Беспринципность руля.

Но опять: не избыто.

Борису Понизовскому

Это так: одиноко. Молчит телефон. Вот и славно - отсутствие учит. Щелкнет птички февральской пистон, как гаданье на случай.

Сквозь стекло померещится луг заливной. Жизне-символов лепет. Механических ангелов строй зренье цветом залепит.

Слишком ластилось слово к предмету. Теперь немота отчуждения. Скоро ты услышишь лишь ветер потерь, и привычное вспыхнет как порох.

Вчера смотрели маки и эдельвейсы (по табличке Безвременник). Ботанический сад остывал, как глядишь на холодные рельсы, что лишь небо, да дождь возвращают назад. Только гуд их напомнит недавнее. Также в сухостое звенящие осы - вглядись - намагничены шумом древесных плюмажей, жарким, сгущенным эхом, взрывающим высь.

Мы солдат под ногами не считали. Атаки миновали пока. Сад молочно мерцал, как хрусталик в зрачке полумертвом собаки, или голубя (а иного, спасибо, пока не видал). Звуки голоса ножниц и голоса женщин настигают пространство, лишенное стен. Но оно от того не становится меньше, к перспективе и лени попавшее в плен.

А в персоне (вал крови, расчеты) движенье времени забегает вперед по сравненью с природой, ее полутенью, холодеющей вмимолет.

Все надежды на скорость иллюзорны на старте. Попрощаемся лучше. Не сезонно, а так. Ботанический сад меньше точки на карте. Меньше памяти, что разжимает кулак.

ЕЩЕ БАБОЧКА

Она сосет цветок до дна, как новый плод на нем возникнув. В дыханьи сморщенного сна то разрастается, то сникнет.

Мерцает на ее крылах, трепещущих бархотцей, не только отражений лад, но тень забытого уродца,

чей облик дважды поменяв в беспамятстве похорошела, ворвавшись в солнечную явь из духоты чужого тела.

Белые зрачки Иерусалима. Ящерицы зноя пробегут. Все сгорит, что было непалимо: письма, дерево и память. Руг

сказала: "Я пойду с тобою, где умрешь - там я умру. Я сама себя оставлю за стеною брошенного дома поутру".

Морок отречения и жажды. Тверди раскаленный зев. Так и я очнусь однажды под чужим наречьем нараспев. Молчанье дерева поет: "Лес занялся огнем".
Я с ним запеть не мог от слез неречием своим.
Я, как портняжка братьев Гримм, к его стволу прирос (а чтобы ветер не унес - утюг держал в руке).

"Казалось, память тяжелей литого чугуна. Но память - слепок, мерка, вещь, а ты уже не тот. Огонь и ветер взял сполна, что было всех милей. Песок и пепел дал взамен".

Так дерево поет.

Не для меня эти холмы раскроют объятья. Охра выжженной зелени прячет в тени минареты. Ночью они вырастают сквозь рупор и тянут проклятья против неверных, но исчезают, конечно, до света.

Пустошь. Пыльный край мира. Идей вавилоны - здесь в Иудее, - даже в костюмах из темного твида. Но для таких, для бастардов, мир смутен, напрасны поклоны и раздвоился лирический голос Давида.

Город, чьи вести в безветрии сгущены, на вертелах всех наречий тебя провернет и оставит. Веки домов и прохожих плотно опущены: то, что подвижно, прозрачно - злесь уподобится лаве.

Жажду усилит сухой известняк, брошенный морем. Город - белильня. Прачка, поди ж ты, и нас застирает. Но мы успели, оставили знаки о рае - паром на свитках случайного, в разговоре.

Иерусалим

На краю мира, вдыхая пыль, вглядываясь в холмы, что как бабочка махаона желто-коричневыми пятнами раскинули крыль я здесь торопливей, чем круче вираж наклона.

Наша скупая беседа - кустарник на этой сухой земле - все же пытается уцепиться, быть столь же странной как глаз на крыле бабочки для устрашения птицы.

Звуки закидываем, думаем заморочить даль, но лишь пелену пустоты колеблем. В ней слишком четко видится то, после чего едва ль чем-нибудь будем, кроме как: глиной, песком, стеблем.

Еще одна страна. Страница, где странница. Я попрошу напиться садовника зеленоглазого через колючую проволоку из стаканчика одноразового.

Я ксении сказать не успеваю, и даже в воздухе саднит граница края оборванного: взглядов, слов. За мной по вектору кривому запятой - лишь пыль да пластик вымерших стоянок, что как и я гонимы знойным ветром

2

Пусть хотя бы во сне увидеть тот остров, где фонтаны и реки. Грозы вырывали рамы во двор из комнаты с темным прохладным паркетом. В глубине переплеты дрожали от света. И прерывистый сумеречный разговор.

И для чего пускаться было в энойный Египет? Крестик позабыт крестильный в комнатке над речкою двужильной. Видишь здесь, и правда, воздух выпит. И даже слезы жажде - вожделенье. Утро прозрачно. Так застывает гекон. Натянуты жилы деревьев, звенят цикады, кузнечики, розы, и если успеешь выйти из тени, то будешь со всех сторон тоже прозрачной планетой его системы венозной.

Но лукаво повеет по скошенному лугу, по анемонам дух движенья и роста - этот час на рассвете для всех бездомных только плавучий остров, плавучий остов.

Громыхнули воздуха цепкие скобы. В туннеле лодок скользящие гробы закачались. На дне их глухой утробы то, что знаешь сам про себя:

никогда ты не станешь больше собою, догадавшись однажды, что проигран тобою мир этот влажный, и сплетение трав у зрачка не смарагдом вспыхнет, а с шипеньем затихнет чернотой нулевого очка.

Кто лежал со мной в гробу фанерном, знаст, как земля вязка. В этом доме этажи безмерны и чернее впалого виска.

На одной из лестничных площадок мы смотрели действо позднего Арто: с мокрых городских лещадок вниз катился в скорлупе никто.

Если я за край земли увез все тени, тех которые, которых я, - станет ли светлей им с теми вместо или просто без меня?

Был всегда со мной сурок: тот сумрак дня, хребет гремящего моста, улиц подпаленный сурик на дыханьи водного холста.

Нет теперь того, что я. Обличье стерто. Но пока светлеют памяти лучи в междумирьи подмастерьем корта буду подбирать мячи.

теперь так тесно в комнате джованни, но вышиваешь сон, как на руках алкоголички-няни ты был взращен.

и в летний сад тебя гулять водили, на лебедя смотреть. и шили платье воробьи из пыли для мраморных, что не надеть.

а под деревьями, где прислонялась няня, ты желуди искал, пока задумчивость не нарушали сани, финифтяный зимы накал.

2

невы державное теченье, а также детское печенье "мария" тоже он любил.

поедем в сиверскую, няня! и выйдем красными из бани без сил.

Саша, ты помнишь наши встречи...

Красноземная Оредежь дно раздвоила. Старухи белье полоскали на деревянных настилах, говорили: все хоть затянуто илом, на воду дунешь - увидишь, что было.

Павлик Морозов. Зина Портнова. Буденный. Рябью подернуты ваши бесстрашные лица. Помнишь ли встречи наши, друг мертвый Саша? Пламя огарка двоится.

Эхо, ты сбросило с красных обрывов
Горниста-Нарцисса античное тело.
Что же поймать ты его не хотело?
Вишневый сад ностальгии белорубашечной;
шея под алой тряпицей вспотела.
Правда ль, скажи, речка Оредежь обмелела?

Играли часто на трубе, когда сидел в читальном зале, когда лежал в его утробе, как в фараоновом гробу. Чиновники как пыль летали, и снег лепился на стекло.

Так и судьба моя лепилась, но на ступеньке оступилась, и потерялось слово сло Нет, даже в зайчике и в ливне, и в угасаньи дня ты, фокусник, хоть не ленивый, не выловишь меня.

Нет имени улыбке, жесту, домашнему вину, что у заборчика с невестой тянул.

Закату, что сквозь щели ставень блестел. Вот и слова хрустящий пламень пожрет, как груды тел.

Толкаешь день, как жук навозный, перед собой, чтоб дни, сбиваясь в клети звездной, вновь стали твердью голубой.

Из чьих-то повзрослевших рук упав в бесслезный мир, замечаешь как паук глядит серьезно

(как будто создал сам Редон, когда б не поздно), в чулочках черных, угнетен в углу беззвездном.

Ловить какого комара охоты нету. Сегодня холодно, хандра. Уходит лето.

И в этих сумрачных часах, в осенних бликах, раскачивая свой гамак, ты хворь накликал.

Остались сирые цветы, что в укоризне как выпавшие болты из крепкой жизни.

Похолодевшая стоит изба природы. И все Италия манит под небосводы.

Памяти ушедших в октябре

1

Dead can dance - бесчувственный встанет. В зазубринах света, сквозь тяжелую дрему припомнит, как земля была им согрета.

Птицы, бубен леса, нежные пятки, как монеты листвы играли в прятки на его лице. Он гонялся за собственной тенью. А теперь лишь белая память над сырой колыбелью.

Dead can dance. Розмарин выгорает на павлине травы, на горячей ладони. Краска облаком движется к Раю к краю несовпадения в цвете, в тоне.

Угадал. Я хочу спрятаться в тени слова. В "о" колодец. За "ц" кузнечик зацепиться - и был таков(а). Смерть, скорее чем звуки, конечна.

Вниз скользя с хроматической гаммы, не замедлишь с ответом: "Движенье!" Тот зазор меж стеклом и рамой пусть продолжит воображенье.

У страны, что покинул ночью, увязавши себя в коробки, я учился глядеть воочью сквозь смещенный хрусталик скобки.

Мне поземка чертила Гварди голубые дома и арки, и лепила на снежной карте фонтаны, зеленые парки.

В том, сошедшем с рельсов, пространство вас, оставшихся в карточках разве, жду, клянясь в своем постоянстве, и делю свою жизнь на две.

декабрь 1993

Как нож обстругивает коренья, так я теперь сожму словостроенье, срезая кожуру прикосновенья к прохладному календарю. Но внешнее сосредоточьем боли останется в строеньи легкой воли подобно пламени и янтарю, хранящим в памяти дыханья и горенья иль в сгустке застолбленного мгновенья подробности, летящие к нулю.

Не для того ли я пустилась в путь, чтоб здесь возник тот шестикрылый кто-нибудь, чтоб он, безлик, приник к лицу, сказал: "Теперь иль никогда". Блуждающий огонь потерь бежит сюда.

В нем остовы мерцают слов, как в янтаре. Строй позабытых языков застыл на дне. Первоначальный сохранен там образ твой. Как фильм прокрутишь, удивлен, из смотровой.

Иди назад сквозь жар и треск. В себя и вспять глядящим - будущего плеск дано унять. Оно затихнет на песке, накрыв огонь. Проснисы Нет сети на руке. Чиста ладонь.

Содержание

Милый человек, я не знаю твоего языка	3
В январь мой поезд попал, как в туннель	4
Кинозал	5
Ворона спит, качаясь в клети березы	6
Все тоньше пленка небесного шара	7
Подводя к равноденствию	8
Буксует воздух. Человек отбросил	9
На смерть Д. Е. Максимова	10
В поисках нужного имени	11
Шары деревьев надулись ветром	12
Все остальное вяло. Мне хотелось бы написать о	13
любви	14
Стихи для Вилли	16
Рыбы-щуки, гады и змеи	17
Стихотворение "Л. Добычин"	18
Набухают водосточные трубы	19
Проездом: родина	21
Это так: одиноко. Молчит телефон	==
Вчера смотрели маки и эдельвейсы	22
Еще бабочка	23
Белые зрачки Иерусалима	24
Молчанье дерева поет	25
Не для меня эти холмы раскроют объятья	26
На краю мира, вдыхая пыль	27
Еще одна страна. Страница	28
Пусть хотя бы во сне увилеть так остров	28

Утро прозрачно. Так застывает гекон	29
Громыхнули воздуха цепкие скобы	30
Кто лежал со мной в гробу фанерном	31
теперь так тесно в комнате джованни	32
невы державное теченье	32
Красноземная Оредежь дно раздвоила	33
Играли часто на трубе	34
Нет, даже в зайчике и в ливне	35
Из чых-то повзрослевших рук	30
Dead can dance - бесчувственный встанет	37
У страны, что покинул ночью	38
Как нож обстругивает коренья	39
Не для того ли я пустилась в путь	40

ТОО "Ривьера".Заказ № 3356.

Тираж 300. 2.11.94 г.